



Филип Рот ПРИЗРАК
ПИСАТЕЛЯ



проза еврейской жизни

Филип Рот
Призрак писателя
Серия «Проза еврейской жизни»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67255019

*Призрак писателя:
ISBN 978-5-906999-02-3*

Аннотация

В романе “Призрак писателя” впервые появляется альтер эго Филипа Рота: Натан Цукерман – блестящий, сумасшедший, противоречивый и неподражаемый герой девяти великолепных романов Рота. В 1956 году начинается история длиной почти в полвека. Всего лишь одна ночь в чужом доме, неожиданное знакомство с загадочной красавицей Эми Беллет – и вот Цукерман, балансируя на грани реальности и вымысла, подозревает, что Эми вполне может оказаться Анной Франк... Тайна личности Эми оставляет слишком много вопросов. Виртуозное мастерство автора увлекает нас в захватывающее приключение. В поисках ответов мы перелистываем главу за главой, книгу за книгой. Мы найдем разгадки вместе с Цукерманом лишь на страницах последней истории Рота о писателе и его призраках, когда в пожилой, больной даме узнаем непостижимую и обольстительную Эми Беллет...

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1 | 5 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 50 |

Филип Рот

Призрак писателя

Посвящается Милану Кундере

Philip Roth

The Ghost Writer

Copyright © 1979, Philip Roth

All rights reserved

© В. Пророкова, перевод, 2018

© ИД “Книжники”, издание на русском языке, 2018

© А. Бондаренко, оформление, 2018

1

Маэстро

Был последний час декабрьского дня – с тех пор минуло уже двадцать с лишним лет, мне тогда было двадцать три года, я писал и публиковал свои первые рассказы и, как многие герои *Bildungsroman*¹, уже обдумывал собственный объемистый *Bildungsroman*, – когда я прибыл в укромное жилище великого человека. Сельский дом, обшитый деревом, стоял в конце грунтовой дороги, на высоте четыреста метров в Беркширских горах, однако на человеке, появившемся из кабинета, дабы меня поприветствовать, был габардиновый костюм, вязаный синий галстук был пришпилен к белой рубашке строгой серебряной булавкой, черные министерские туфли сияли так, словно он только что вышел от чистильщика, а не из алтаря высокого искусства. Прежде чем я сосредоточился настолько, чтобы заметить, как властно, диктаторски вздернут его подбородок, как царственно, притом тщательно и не без изящества он расправляет одежду, перед тем как сесть, – заметить, собственно говоря, хоть что-то кроме того, что я, при моих нисколько не литературных истоках, чудесным образом сюда до него добрался, – у меня создалось впечатление, что Э. И. Лонофф выглядит как местный

¹ Роман воспитания (нем.). – Здесь и далее примеч. перев.

школьный инспектор, а не самый своеобразный из местных писателей со времен Мелвилла и Готорна. Впрочем, наслушавшись нью-йоркских баек о нем, я должен был предполагать встречу с кем-то величественным. Когда незадолго до этого я упомянул его имя перед высоким судом, на своей первой манхэттенской вечеринке с издателями – я прибыл туда, волнуясь, как старлетка, под руку с пожилым редактором, – остроумцы в мгновение ока с ним разобрались, будто нет ничего комичнее того, что еврей его поколения, выходец из семьи иммигрантов, женился на девушке, чья семья не первый век обитала в Новой Англии, и все эти годы проживал “за городом” – то есть в *гойской* глуши среди птиц и деревьев, там, где Америка начиналась и давным-давно закончилась. Однако, поскольку все авторитеты, упомянутые мной на той вечеринке, казались тамошним просвещенным личностям слегка забавными, я скептически отнесся к их сатирическим описаниям знаменитого сельского затворника. По правде говоря, после того, что я увидел на этой вечеринке, я стал понимать, почему у писателя, неважно, еврейский он или нет, может возникнуть желание укрываться в горах на высоте четыреста метров, среди лишь птиц и деревьев.

Гостиная, в которую он меня провел, была аккуратной, уютной и скромной: большой круглый плетеный ковер, глубокие кресла в чехлах, потертый диван, полки с книгами, пианино, проигрыватель, дубовый письменный стол с разложенными в определенном порядке журналами. На свет-

ло-желтых стенах, снизу обитых белыми деревянными панелями, висело лишь несколько любительских акварелей со старым домом в разные времена года. На широких низких подоконниках разбросаны подушки, бесцветные хлопковые шторы строго собраны, из окон видны голые ветви огромных кленов и занесенные снегом поля. Чистота. Строгость. Простота. Уединение. Сосредоточенность, яркость, оригинальность – все это сберегалось для всепоглощающего, высокого, надмирного призвания. Я огляделся и подумал: вот так буду жить и я.

Подведя меня к паре кресел у камина, Лонофф убрал от камина экран, проверил, выдвинута ли заглушка. Деревянной спичкой он поджег поленья, видимо сложенные заранее – к нашей встрече. Затем он вернул экран точно на прежнее место – будто для него был проложен желоб. Убедившись, что поленья занялись, и довольный тем, что развел огонь, не подвергнув опасности двухсотлетний дом и его обитателей, он наконец присоединился ко мне. Он подпернул, чтобы не смять складки, сначала одну брючину, затем другую – его почти женские руки были проворны и изящны – и сел. Для столь крупного и кряжистого мужчины двигался он с легкостью.

– Как вы предпочитаете, чтобы вас называли? – спросил Эмануэль Исидор Лонофф. – Натан, Нейт, Нат? Или вам нравится что-то иное? – Друзья и знакомые, сообщил он мне, зовут его Мэнни, и мне следует называть его так же. – Так

разговор пойдет живее.

В этом я сомневался, но улыбнулся, давая понять, что, хоть от этого мне точно будет не по себе, я его послушаюсь. Тогда мастер стал расспрашивать меня дальше, сказав, что хочет услышать от меня что-нибудь о моей жизни. Само собой, мне в 1956 году о своей жизни было почти нечего рассказать – тем более тому, кого я считал столь знающим и глубоким человеком. Я вырос у любящих родителей, в не то чтобы бедном, но и не богатом районе Ньюарка; у меня был младший брат, который, по общему мнению, меня обожал; в хорошей местной школе и в прекрасном университете я показал те результаты, каких и ожидали от меня поколения предков; затем я служил в армии, на базе в часе езды от дома, – писал пресс-релизы для одного майора в Форт-Диксе, в то время как в Корее шла кровавая бойня, для которой, собственно, и было приуготовано мое тело. Демобилизовавшись, я жил и писал неподалеку от нижней части Бродвея, в квартире на пятом этаже без лифта, которую моя девушка, когда переехала ко мне и пыталась немного ее облагородить, называла жилищем грешного монаха.

Чтобы зарабатывать на жизнь, я три раза в неделю ездил за реку, в Нью-Джерси, занимался тем же, чем и в лето после первого курса, когда я откликнулся на объявление, обещавшее настырным продавцам высокие комиссионные. В восемь утра нашу команду вывозили в один из фабричных городков Нью-Джерси, и мы ходили по домам, продавали подписку на

журналы, а в шесть вечера нас забирал у заранее оговоренного бара и вез назад наш начальник, Макэлрой, в центр Нью-арка. Этот щеголеватый, с усиками в ниточку, пьянчуга вечно твердил нам – двум возвышенным юношам, откладывавшим деньги на обучение, и трем вялым старожилам, бледным одутловатым мужикам, на которых валились все возможные несчастья: не заводите шашни с домохозяйками в бигудях, что торчат дома одни, – или муж в ярости переломает вам ребра, или вас подставят и будут шантажировать как насильников, или вы подхватите любую из пятидесяти грязных зараз, но главное – часов в сутках не так уж и много. “Либо с бабами забавляйтесь, – невозмутимо советовал он нам, – либо ‘Серебряный экран’ продавайте. Вам решать”. Мы, два студента университета, прозвали его “Моисеем от Мамоны”. Поскольку ни одна домохозяйка ни разу не выказала желания пригласить меня в дом – пусть просто передохнуть, – а я бдительно следил, не блеснет ли огонек похоти во взгляде женщины любого возраста, которая соглашалась хотя бы выслушать меня из-за сетчатой двери, я вынужден был совершенствоваться в работе, а не в радостях жизни и под конец долгого дня уговоров и агитации имел от десяти до двадцати долларов комиссионных на своем счете и незапятнанное будущее впереди. Прошло всего несколько недель, как я бросил эту безгрешную жизнь, равно как и девушку в квартире на пятом этаже без лифта, которую я больше не любил, и с помощью влиятельного нью-йоркского редактора

получил на зимние месяцы приглашение пожить в колонии Квосей, где в сельском уединении работали деятели искусства, а находилась она в соседнем штате, за горой Лоноффа.

Из Квосея я послал Лоноффу ежеквартальные литературные журналы, где публиковались мои рассказы – пока что всего четыре, – и письмо, в нем я расписывал, как много он для меня значил, когда “несколько лет назад”, учась в университете, я познакомился с его произведениями. Следом я упомянул, как стал читать его “сородичей” Чехова и Гоголя, а далее недвусмысленно демонстрировал, насколько я серьезный писатель, показывая одновременно, как я молод. Впрочем, ничто из написанного мной прежде не потребовало таких трудов, как это письмо. Все в нем было правдой, но – стоило мне об этом написать – оборачивалось неприкрытой фальшью, и чем искреннее я старался быть, тем фальшивее у меня получалось. В конце концов я послал десятый вариант, а затем пытался засунуть руку в почтовый ящик, чтобы выудить оттуда свое письмо.

В простой и уютной гостиной с автобиографией у меня получалось ничуть не лучше. Поскольку, сидя у старинного камина Лоноффа, я не мог выдавить из себя ни малейшей непристойности, моим попыткам изобразить мистера Макэлроя – друзья обожали эти мои представления – не хватало блеска. Не получалось у меня и с легкостью описать все то, насчет чего Макэлрой нас предостерегал, не осмеливался я и упомянуть, с какой охотой я бы поддался на соблазны,

представься мне такая возможность. Можно было подумать, слушая выхолощенную историю моей и без того небогатой событиями куцей жизни, что приехал я не потому, что получил от знаменитого писателя теплое и благосклонное письмо с приглашением провести приятный вечер у него в доме, а чтобы защитить дело, чрезвычайно для меня важное, перед строжайшим из инквизиторов, и сделай я хоть один неверный шаг, я навеки лишусь чего-то неизмеримо ценного. Так по сути и было, хотя я пока что не понимал, как остро нуждаюсь в его одобрении и почему. Невзирая на свой застенчивый сбивчивый рассказ – кстати, в те годы юношеской самоуверенности обычно такого за мной не водилось, – я несколько не тушевался, и мне самому бы удивиться, почему я не распластался на плетеном ковре у его ног. Поскольку, видите ли, приехал я для того, чтобы предложить свою кандидатуру в качестве ни больше ни меньше как духовного сына Э. И. Лоноффа, нижайше просить его быть моим нравственным наставником и получить, если удастся, магическую защиту в виде его заступничества и любви. Разумеется, у меня имелся свой собственный любящий отец, у которого я в любое время дня и ночи мог просить что угодно, но мой отец был врачом по стопам, а не писателем, и недавно у нас в семье случились серьезные неурядицы из-за моего нового рассказа. Он был так им обескуражен, что кинулся к *своему* нравственному наставнику, некоему судье Леопольду Ваптеру, чтобы судья заставил его сына узреть свет истины.

В результате после двух десятилетий более или менее непрерывного дружеского общения мы к тому времени уже пять недель не разговаривали, и я отправился искать отеческого одобрения в другом месте.

Причем не просто у отца, который был творцом, а не мольным оператором, но у самого знаменитого литературного отшельника Америки, гиганта терпения, стойкости и самоотверженности, который за двадцать пять лет между своей первой книгой и шестой (за которую ему присудили Национальную книжную премию, а он преспокойно отказался ее принять) фактически не имел ни читателей, ни признания и неминуемо был бы сброшен со счетов – если бы и хоть когда-либо о нем упомянули – как курьезный реликт из гетто Старого Света, выпавший из времени собиратель фольклора, прискорбно не замечающий современных тенденций в литературе и обществе. Никто толком не знал, кто он и где живет, и почти четверть века никому до этого и дела не было. Даже среди его читателей имелись те, кто считал, что фантазии Э. И. Лоноффа по поводу американцев были написаны на идише где-то в царской России, после чего он предположительно там и умер (как на самом деле едва не погиб его отец) от увечий, полученных во время погрома. Меня восхищало в нем многое – не только стойкость, с которой он все это время продолжал писать рассказы в своей манере, но и то, что, когда его открыли и стали раскручивать, он отказался от всех наград и званий, равно как от членства во всяких

почетных организациях, не давал интервью и предпочитал не фотографироваться, считая, что ассоциировать его лицо с его сочинениями глупо и неуместно.

Единственным фото, которое видел кто-либо из читающей публики, был размытый портрет в сепии, опубликованный в 1927 году на внутренней стороне суперобложки сборника “Это ваши похороны”: красивый молодой писатель с лирическими миндалевидными глазами, высоким завлекательным коком темных волос и манящей к поцелуям выразительной нижней губой. Теперь он был совершенно иным – не только из-за обвисших щек, животика и лысого черепа с седой опушкой, у него был образ совершенно другого толка, и я подумал (как только ко мне вернулась способность думать), что причина метаморфозы наверняка куда безжалостней, чем время: дело было в самом Лоноффе. Разве что густые лоснящиеся брови и чуть задранный к небесам упрямый подбородок роднили его, в пятьдесят шесть, с фотографией страстного, одинокого, застенчивого Валентино², который в десятилетие, когда царили Хемингуэй и Фицджеральд, написал сборник рассказов о евреях-скитальцах, не похожий ни на что написанное прежде евреями, доскитавшимися до Америки.

Собственно говоря, когда я – убежденный студент-атеист, будущий представитель интеллектуальной элиты – впервые

² Рудольф Валентино (1895–1926) – американский киноактер, секс-символ эпохи немого кино.

читал сочинения Лоноффа, они лучше помогли мне понять, что я все еще отпрыск своей еврейской семьи, чем всё, что я донес до Чикагского университета с детских занятий ивритом, или с маминой кухни, или с бесед родителей с нашими родственниками об опасности межнациональных браков, проблеме Санта-Клауса и несправедливости квот на медицинских факультетах (из-за этих квот, понял я еще в детстве, мой отец стал подиатром и всю жизнь рьяно поддерживал Антидиффамационную лигу Бней-Брит³). В начальной школе я уже мог обсуждать эти темы с кем угодно (что и делал, когда приходилось); впрочем, когда я уехал в Чикаго, моя страсть уже улеглась и я с юношеским пылом уже был готов ратовать за гуманитарный факультет Роберта Хатчинса⁴. Но примерно в то же время я, как и десятки тысяч других читателей, открыл для себя Э. И. Лоноффа, чьи книги казались мне ответом на груз исключений и ограничений, все еще давивший на тех, кто меня растил, и из-за которого все наши родственники были буквально помешаны на положении евреев. Гордость, какую испытали мои родители, когда в 1948 году в Палестине была объявлена новая родина, где могли собраться все европейские евреи, кого не успели убить, по сути была схожа с той, что испытал я, когда впер-

³ Американская еврейская неправительственная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям.

⁴ Роберт Хатчинс (1899–1977), став президентом Чикагского университета, в числе прочего разработал новую программу гуманитарного образования.

вые столкнулся с покоренными, скрытными, плененными душами в книгах Лоноффа и понял: из того унижения, от которого так стремился избавить нас мой собственный отец, труженик и смутьян, может беззастенчиво вырасти такая суровая и пронзительная литература. Мне казалось, будто галлюцинации Гоголя были пропущены через участливый скептицизм Чехова, благодаря чему в нашей стране и вырос первый “русский” писатель. Во всяком случае, такие аргументы я приводил в университетских эссе, где “анализировал” стиль Лоноффа, но ни с кем не делился пробужденным им во мне ощущением родства с нашим уже существенно американизированным кланом, начало которому положили нищие иммигранты-лавочники, жившие местечковой жизнью в десяти минутах ходьбы от центра Ньюарка, с его зданиями банков в колоннадах и страховыми компаниями в соборах с горгульями; более того, ощущением родства с нашими благочестивыми неведомыми предками, чьи мытарства в Галиции были мне, безбедно выросшему в Нью-Джерси, почти так же чужды, как странствия Авраама в земле Ханаанской. С его водевильной тягой к легендам и пейзажам (на последнем курсе в эссе о Лоноффе я назвал его Чаплином, который нашел подходящий реквизит, чтобы показать все общество и его мировоззрение); с его “переведенным” английским, придававшим слегка ироничный оттенок даже самым расхожим выражениям; с его загадочным, приглушенным, мечтательным звучанием, из-за которого такие маленькие рассказы го-

ворили так много, – и кто же, вопрошал я, в американской литературе может с ним сравниться?

Типичный герой рассказа Лоноффа – герой, значивший очень много для начитанных американцев середины пятидесятых, герой, лет через десять после Гитлера сумевший сказать что-то новое и душераздирающее гоим о евреях и евреям о них самих, а читателям и писателям того восстановительного десятилетия в целом о двойственности благоразумия и о тревогах беспорядка, о жажде жизни, сделках с жизнью и ужасах жизни в их самых примитивных проявлениях, – герой Лоноффа чаще всего – никто, взявшийся ниоткуда, брошенный далеко от дома, где по нему не скучают, но куда он должен незамедлительно вернуться. Его знаменитая смесь сострадания и безжалостности (увековеченная в “Тайм” как лоноффианская – после того, как Лоноффа не один десяток лет игнорировали) более всего потрясает в рассказах, где погруженный в свои мысли отшельник заставляет себя включиться в жизнь, но лишь обнаруживает, что, тщательно все обдумывая, он упустил время сделать кому-нибудь что-то хорошее, а действуя с несвойственной ему порывистостью, совершенно неверно оценивал, что же вытаскивало его из посильного существования, и в результате только все испортил.

Самые мрачные, смешные и тревожные рассказы, где, как мне казалось, безжалостный автор вот-вот сам себя угробит, были написаны в короткий период его литературной славы

(он умер в 1961 году от воспаления костного мозга, а когда Освальд застрелил Кеннеди и на смену оплоту добропорядочности пришла исполинская банановая республика, его сочинения и полномочия, отданные им всему запретному в жизни, быстро потеряли “актуальность” для нового поколения читателей). Известность не взбодрила Лоноффа, наоборот, словно усугубила его самые трагичные фантазии, подтвердив его видение неминуемых ограничений, которые могли бы показаться недостаточно подкрепленными личным опытом, если бы мир так до самого конца и не вознаградил его. Лишь когда немного вожделенного изобилия стало ему доступно – только попроси, лишь когда стало совершенно ясно, насколько не приурочен он иметь что-то или владеть чем-то, кроме своего творчества, он вдохновился написать блистательный цикл юмористических притч (рассказы “Месть”, “Вши”, “Индиана”, “Эппес Эссен”⁵ и “Адман”), в которых изнуренный герой вообще не предпринимает попыток действовать – малейшие потуги к инициативе или самоотречению, не говоря уже об интригах или авантюрах, немедленно гасились правящим триумvirатом Здравомыслия, Ответственности и Достоинства, на помощь которому спешили их преданные прислужники – распорядок, ливень, головная боль, сигнал “занято”, дорожные пробки и, самый верный из всех, нахлынувшее в последнюю минуту сомнение.

⁵ Подкрепиться (*идши*).

Продавал ли я какие-то еще журналы, кроме “Фотоигры” и “Серебряного экрана”? Говорил ли я в каждом доме одно и то же или подстраивал свои речи под клиента? Как я оцениваю свои успехи в качестве торговца? Что я думал о людях, подписывающихся на эти убогие журналы? Скучной ли была работа? Случалось ли что-нибудь необычное, когда я бродил по незнакомым мне районам? Сколько таких команд, как у мистера Макэлроя, было в Нью-Джерси? Как удавалось компании платить мне по три доллара за каждую проданную подписку? Бывал ли я когда-либо в Хакенсаке? Как там?

Трудно было поверить, что работа, которой я занимался лишь для того, чтобы содержать себя, пока не смогу вести такой же образ жизни, как и он, могла заинтересовать Э. И. Лоноффа. Он явно был человек обходительный и старался, чтобы я почувствовал себя в своей тарелке, но, даже старательно ответив на его подробные расспросы, я был уверен, что он вот-вот придумает, как избавиться от меня до ужина.

– А я вообще ничего не знал о том, как торгуют подписками, – сказал он.

Чтобы продемонстрировать, что я не обижаюсь на снисходительное ко мне отношение и пойму, если меня вскоре попросят покинуть этот дом, я залился краской.

– Я вообще почти ни о чем ничего не знаю. Тридцать лет

я только фантазирую. Со мной ничего не случается.

И тут передо мной возникла потрясающая юная женщина – как раз когда он исполнял с едва различимыми нотками отвращения к себе эту невероятную ламентацию, а я пытался усвоить ее. С ним ничего не случается? Как так ничего не случилось? А талант, а искусство, он же провидец!

Жена Лоноффа, седовласая женщина, – впустив меня в дом, она тотчас удалилась, – распахнула дверь кабинета напротив гостиной, через холл, и я увидел ее – пышные черные волосы, светлые – серые или зеленые – глаза, высокий выпуклый лоб полумесяцем – как у Шекспира. Она сидела на ковре среди груды бумаг и папок, в твидовой юбке “нью лук”⁶ – этот стиль на Манхэттене давно уже считался старомодным – и в объемном свободном свитере белой шерсти; ее вытянутые ноги скромно скрывались под широкой юбкой, а взгляд был устремлен куда-то за пределы комнаты. Где я видел эту суровую строгую красоту прежде? Где, как не на портрете кисти Веласкеса. Я вспомнил фотографию Лоноффа 1927 года, тоже в каком-то смысле “испанскую”, и немедленно решил, что это его дочь. Я немедленно решил и кое-что еще. Миссис Лонофф не успела поставить на ковер рядом с ней поднос, а я уже видел себя женатым на этой *infanta*⁷, живущим с ней в нашем собственном домике неподалеку. Только

⁶ Имеется в виду первая коллекция (1947) Кристиана Диора, прозванная американскими журналистами *New Look* – “новый имидж”.

⁷ Инфанта (*исп.*).

сколько же ей лет, если мама кормит ее печеньем, пока она доделывает на полу в папином кабинете домашнее задание? С лицом, чьи резко очерченные скулы выглядели так, будто их выточил куда более искусный скульптор, нежели природа, с таким лицом ей наверняка больше двенадцати. Впрочем, если нет, я могу и подождать. Эта идея привлекала меня даже больше, чем перспектива взять ее в жены этой весной, в этой гостиной. Что покажет силу моего характера, подумал я. Но что подумает ее знаменитый отец? Ему-то уж не надо напоминать о веском ветхозаветном прецеденте и о необходимости ждать семь лет, прежде чем обручиться с мисс Лоднофф; с другой стороны, как он отреагирует, увидев, что я торчу в своей машине около ее школы?

Он тем временем говорил мне:

– Я кручу фразы. В этом моя жизнь. Пишу фразу, а потом кручу ее. Смотрю на нее и снова кручу. Потом обедаю. Потом возвращаюсь и пишу еще одну фразу. Потом пью чай и кручу новую фразу. Перечитываю две фразы и кручу обе. Потом ложусь на диван и думаю. Потом встаю, выкидываю их и начинаю сначала. И если я хотя бы на день выпадаю из этого режима, начинаю сходить с ума от скуки и ощущения бессмысленности. По воскресеньям я завтракаю позже и читаю вместе с Хоуп газеты. Потом мы идем гулять в горы, и я снова мучаюсь, что зря трачу время. По воскресеньям я просыпаюсь и чуть ли не бешусь, думая о бесполезных часах впереди. Я не нахожу себе места, я злюсь, но она же то-

же человек, поэтому я иду. Чтобы я не дергался, она заставляет меня оставлять часы дома. В результате я просто смотрю на запястье. Мы гуляем, она болтает, потом я смотрю на запястье – и этого, если моего мрачного вида недостаточно, хватает. Она сдается, и мы отправляемся домой. А дома как отличить воскресенье от четверга? Я сажусь за свою малышку “Оливетти”, перечитываю фразы, снова их кручу. И спрашиваю себя: почему я могу занимать себя только таким образом?

Хоуп Лонофф уже закрыла дверь в кабинет и пошла дальше хлопотать по хозяйству. Мы с Лонофф-фом слышали, как она жужжит миксером на кухне. Я не знал, что сказать. Жизнь, которую он описывал, казалась мне райской; то, что он не мог придумать себе лучшего занятия, чем крутить фразы туда-сюда, казалось мне благословением, ниспосланным не только ему, но и всей мировой литературе. Я гадал: а вдруг он рассчитывал, что его рассказ о своем дне, хоть и изложенный с каменным лицом, меня рассмешит, вдруг он был задуман как ехидная лоноффская миниатюра. Впрочем, если он говорил серьезно и действительно был этим так удручен, может, следовало напомнить ему, кто он и что значит для читающего человечества? Но разве ему это неизвестно?

Миксер жужжал, поленья потрескивали, ветер дул, деревья скрипели, а я в свои двадцать три пытался придумать, как развеять его тоску. Его откровенность, совершенно не вязавшаяся со строгой одеждой и педантичными манерами,

ставила меня в тупик – я не привык выслушивать нечто подобное от людей вдвое меня старше, даже если его рассказ о себе был приправлен самоиронией. Тем более если он был приправлен самоиронией.

– Я бы после чая и не пытался писать, если бы знал, чем себя занять до вечера.

Он объяснил, что к трем часам у него нет ни сил, ни решимости, ни даже желания продолжать. Но что еще можно делать? Если бы он играл на скрипке или на фортепьяно, было бы чем заняться кроме чтения, когда он не пишет. А посидеть днем и послушать в одиночестве пластинку тоже не получается: он начинает крутить в голове фразы и все равно оказывается за столом, сидит и скептически пересматривает написанное за день. Да, конечно, к счастью, есть колледж “Афина”. Он с воодушевлением рассказывал о студентах обоих курсов, которые там ведет. В маленьком университете Стокбриджа ему выделили место на факультете лет за двадцать до того, как им заинтересовался весь ученый мир, за что он будет вечно благодарен. Но, по правде говоря, он столько лет учил этих умных и способных девушек, что и он, и они уже начали повторяться.

– Может, стоит взять академический отпуск на год?

Я несколько не волновался – ведь я уже провел первые пятнадцать минут в обществе Э. И. Лоноффа и теперь рассказывал ему, как следует жить. – Брал я отпуск. Было только хуже. Мы сняли в Лондоне квартиру на год. И я мог писать

каждый день. Плюс Хоуп страдала, потому что я не прерывался, не ходил с ней смотреть архитектуру. Нет, больше никаких отпусков. Ведь так я хотя бы два раза в неделю после обеда должен отвлекаться – без вопросов. К тому же поездка в университет – это важнейшее событие недели. Я беру портфель. Надеваю шляпу. Киваю людям, которых встречаю на лестнице. Пользуюсь общественным туалетом. Спросите Хоуп. Я возвращаюсь домой, насквозь пропахший этим пандемониумом.

– А у вас есть свои дети?

В кухне зазвонил телефон. Не обращая на него внимания, он сообщил мне, что младшая из их троих детей несколько лет назад окончила Уэллсли⁸; они с женой живут вдвоем уже больше шести лет.

Значит, та девушка – не его дочь. Кто же она, почему его жена приносит ей в кабинет перекусить? Его конкубина? Идиотское слово, да и сама мысль идиотская, но она засела в голову и заслонила все разумные и достойные мысли. Среди наград, полагающихся за то, что ты великий писатель, еще и конкубинат с веласкесовской инфантой и благоговейный трепет юношей вроде меня. Я снова растерялся – предаюсь столь низменным мечтаниям в присутствии того, кого считаю своей литературной совестью, впрочем, разве не те же низменные помыслы мучили аскетов и отшельников в лоноффских рассказах? Кому, как не Э. И. Лоноффу, знать,

⁸ Женский частный колледж свободных искусств неподалеку от Бостона.

что живыми людьми нас делает не только высокая цель, но и наши скромные нужды и запросы. Тем не менее я счел, что лучше держать свои скромные нужды и запросы при себе.

Дверь кухни приоткрылась, и жена тихо сказала Лоноффу:

– Это тебя.

– Кто? Надеюсь, не этот наш гений.

– Разве я тогда сказала бы, что ты дома?

– Тебе надо научиться говорить людям “нет”. Такие типы звонят по пятьдесят раз на дню. Вдохновение накатывает, и они кидаются к телефону.

– Это не он.

– У него непоколебимое неверное мнение обо всем. В голове полно мыслей, и все глупые. И почему он во время разговора тычет в меня пальцем? Почему ему так необходимо разобраться во всем? Прекрати сводить меня с интеллектуалами. Я не умею так быстро думать.

– Я же сказала, извини. И это не он.

– А кто?

– Уиллис.

– Хоуп, я тут с Натаном разговариваю.

– Извини. Скажу, что ты работаешь.

– Не используй работу в качестве оправдания. Меня это не устраивает.

– Могу сказать, что у тебя гость.

– Прошу вас... – сказал я, имея в виду, что я никто, даже

не гость.

– Он вечно в восхищении, – сказал Лонофф жене. – Вечно глубоко тронут. Вечно вот-вот расплачется. Чему он так всегда сочувствует?

– Тебе, – ответила она.

– Такой участливый. Зачем столько эмоций?

– Он перед тобой преклоняется.

Лонофф встал и, застегнув пиджак, отправился отвечать на нежелательный звонок.

– Они либо врожденные идиоты, – объяснил он мне, – либо глубокие мыслители.

Я выразил сочувствие, пожав плечами, а сам, разумеется, задумался: а может, по моему письму меня можно было отнести к обеим категориям? Затем мои мысли снова обратились к девушке в кабинете. Она живет в колледже или приехала из Испании в гости к Лоноффу? Выйдет ли она из кабинета? Если нет, как мне туда зайти? Если нет, как мне устроить встречу с ней?

Я должен увидеть вас снова.

Я открыл журнал – лучший способ отогнать коварные мысли и ждать, как положено вдумчивому писателю. Листая страницы, я наткнулся на статью о политической ситуации в Алжире и на еще одну – о развитии телевидения, в обеих было множество подчеркнутых мест. Если читать их по порядку, получался идеальный конспект каждой статьи, школьнику это могло служить отличным примером того, как готовить

доклад по текущим событиям.

Когда Лонофф вернулся – минуты не прошло – с кухни, он увидел у меня в руках “Харперс базаар” и тут же стал объяснять.

– У меня внимание рассеивается, – сообщил он мне, словно я был врачом, заглянувшим расспросить о его недавних странных и тревожных симптомах. – Дочитав до конца страницы, я пытаюсь пересказать себе прочитанное и не могу вспомнить ни слова – я, оказывается, сидел в кресле просто так. Разумеется, я всегда читал книги с карандашом в руке, но теперь, если я этого не делаю, даже читая журналы, я думаю не о том, что у меня перед глазами.

Тут она появилась снова. Но то, что издали казалось строгой и простой красотой, вблизи выглядело скорее загадкой. Она прошла через холл в гостиную как раз в тот момент, когда Лонофф закончил подробно описывать странное состояние, в которое впадал, читая журналы, и я заметил, что ее удивительная голова была задумана в куда более величественном масштабе, чем туловище. Мешковатый свитер и широченная твидовая юбка, конечно же, помогали скрыть ее миниатюрность, но все другие особенности ее облика (за исключением густых кудрявых волос) казались несущественными и расплывчатыми прежде всего из-за выразительного лица в сочетании с мягким и умным взглядом ее огромных светлых глаз. Не стану скрывать, глубокого спокойствия этого взгляда было бы достаточно, чтобы я сник от смущения,

но я не мог смотреть ей прямо в глаза еще и потому, что негармоничное сочетание туловища и головы словно подсказывало мне, что в ее жизни были несчастья, какие-то тяжелые потери или поражения, а для баланса в чем-то пришлось переусердствовать. Я вспомнил о цыпленке, закованном в скорлупу, откуда он может высунуть разве что клювастую головку. Вспомнил каменных идолов-макроцефалов с острова Пасхи. Вспомнил лихорадящих больных на верандах швейцарских санаториев, вдыхающих воздух волшебных гор. Но я не стану преувеличивать пафос и оригинальность моих впечатлений, поскольку вскоре их сменили неоригинальные и непреодолимые мечтания: я теперь думал только о том, с каким торжеством я бы целовал это лицо и с каким наслаждением получал бы ответные поцелуи.

– На сегодня всё, – сообщила она Лоноффу.

Он взглянул на нее так грустно и обеспокоенно, что я подумал, уж не внучка ли она ему. В мгновение ока он превратился в самого доступного из людей, свободного ото всех забот и обязательств. Быть может, подумал я, все еще пытаюсь объяснить некоторую странность в ней, которую я не мог определить, она – дитя его умершей дочери.

– Это мистер Цукерман, он пишет рассказы, – сказал Лонофф, ласково меня поддразнивая, будто он стал моим дедушкой. – Я дал вам почитать его сочинения.

Я встал и пожал ей руку.

– А это мисс Беллет. Она когда-то была моей студенткой.

Вот, приехала к нам на несколько дней и взяла на себя труд разобрать мои рукописи. Тут меня уговаривают отдать на хранение в Гарвардский университет те клочки бумаги, где я кручу свои фразы. Эми работает в библиотеке Гарварда. Библиотека “Афины” только что сделала ей исключительное предложение, но она говорит, что привыкла к жизни в Кеймбридже. А тем временем хитроумно использует свое пребывание здесь, чтобы убедить меня...

– Нет-нет-нет! – пылко возразила она. – Если вы так к этому относитесь, мои попытки обречены. – Особую мелодику речи мисс Беллет – хотя ей и так хватало очарования – придавал легкий иностранный акцент. – Маэстро, – объяснила она, повернувшись ко мне, – по своему характеру склонен к контрсуггестии.

– И к прочим контрам, – простонал он, давая понять, что психологический жаргон его утомляет.

– Я только что нашла двадцать семь вариантов одного рассказа, – сообщила она мне.

– Какого именно? – заинтересовался я.

– “Жизнь ставит в тупик”.

– И ни один из них, – вставил Лонофф, – не получился.

– Вам за ваше терпение памятник должны поставить, – сказала она ему.

Он указал на выпирающую из-под застегнутого пиджака округлость живота:

– Вот он, памятник.

– На занятиях по писательскому мастерству, – сказала она, – он говорил студентам: “В жизни главное – терпение”. Мы никак понять не могли, что он имеет в виду.

– Вы понимали. Не могли не понимать. Дорогая моя юная леди, я научился этому, наблюдая за вами. – Но я ничего не умею ждать! – сказала она.

– Умеете.

– Разрываясь от неудовлетворенности.

– Если бы вы не разрывались, – сообщил ей учитель, – терпение вам было бы ни к чему.

У шкафа в холле она сняла мокасины, в которых была в гостинной, надела белые шерстяные носки и красные сапоги. Сняла с вешалки клетчатую куртку с капюшоном, в рукав которой была засунута белая шерстяная шапочка с пушистым помпоном, висевшим на длинном витом шнурке. Только что я видел, как она перешучивалась со знаменитым писателем и держалась так легко и уверенно, что я и сам почувствовал себя чуть ближе к внутреннему кругу, – а тут вдруг эта детская шапочка! Теперь она была одета как маленькая девочка. Для меня было загадкой, как у нее получается вести себя так мудро и одеваться так по-детски.

Я стоял вместе с Лоноффом у открытой двери и махал ей на прощание. Теперь я благоговел перед двумя людьми в этом доме.

Пока что только дул ветер, снег еще не валил, но в саду Лоноффа уже почти стемнело и, судя по звуку, надвигалось

нечто угрожающее. Между пустынной немощеной дорогой и домом первым барьером стояли две дюжины старых диких яблонь. Далее шли густые зеленые заросли рододендронов, затем широкая каменная стена с пробоиной – как гнилой зуб – в центре, затем метров пятнадцать занесенной снегом лужайки, и, наконец, уже у самого дома – будто оберегая его – нависали над крышей три клена – судя по размерам, ровесники Новой Англии. Сзади дом выходил на бескрайние поля, погребенные под снегом с первых декабрьских метелей. Дальше внушительно возвышались лесистые горы – череда тоже поросших лесом холмов, заползавшая на территорию соседнего штата. Я предположил, что даже у самого бешеного варвара ушло бы несколько зимних месяцев, чтобы преодолеть заледеневшие водопады и продуваемые ветрами леса этих гор и добраться до кромки лоноффских лугов, вышибить заднюю дверь дома, вломиться в кабинет и, размахивая шипованной дубиной над крохой “Оливетти”, пророкотать басом писателю, печатающему двадцать седьмой вариант рассказа: “Ты должен изменить жизнь!” Но даже он мог дрогнуть и вернуться в лоно своей варварской семьи, доберись он до черных массачусетских гор в такую ночь, как эта, перед самым ужином и незадолго до новой бури, несущейся с самого края света. Нет, по крайней мере сейчас Лоноффу, похоже, внешний мир никак ничем не угрожал.

Мы постояли на крыльце, пока Лонофф не убедился, что она очистила и ветровое стекло, и заднее – они уже залед-

нели, и на них налип снег.

– Поезжайте как можно медленнее! – крикнул он.

Чтобы залезть в крохотный зеленый “рено”, ей пришлось приподнять край юбки. Над сапогами я увидел кусочек ноги и тут же отвернулся, чтобы меня ни в чем не заподозрили.

– Да, будьте осторожны! – крикнул я, выступив в облике мистера Цукермана, писателя. – Там скользко, дорога обманчивая.

– У нее замечательная проза, – сказал мне Лонофф, когда мы вернулись в дом. – Лучшее из всего, что я читал у студентов. Поразительная ясность. Поразительное чувство юмора. Впечатляющий интеллект. Она писала рассказы об университете и в одной фразе могла поймать всю суть. Она использует все, что видит. И прекрасно играет на фортепьяно. Исполняет Шопена с невероятным обаянием. Когда она только приехала в “Афину”, она играла на пианино нашей дочери. И я ждал вечера, чтобы ее послушать.

– Да, девушка удивительная, – сказал я задумчиво. – А откуда она родом?

– К нам она приехала из Англии.

– Но акцент...

– А он и делает ее обворожительной, – ответил он.

– Согласен, – только и осмелился сказать я и подумал: хватит стесняться, хватит по-мальчишески зажиматься и почитительно помалкивать. Передо мной, в конце концов, автор рассказа “Жизнь ставит в тупик”, кто, если не он, знает, что

к чему?

Мы стояли у камина и грелись. Я повернулся к Лоноффу и сказал:

– Думаю, я бы непременно потерял голову, если бы преподавал у таких красивых, талантливых и обворожительных девушек.

На что он ответил просто:

– Значит, вам не следует этим заниматься.

* * *

Сюрприз – да, еще один – ждал меня за ужином. Лонофф откупорил бутылку кьянти, уже стоявшую на столе, и произнес тост. Дав жене знак тоже поднять бокал, он сказал:

– За замечательного нового писателя!

Что ж, тут я наконец расслабился. Стал рассказывать о месяце, проведенном в Квосее, о том, как мне нравится тамошняя безмятежная красота, как нравится ходить на закате по тамошним тропам, а вечерами читать у себя в комнате – в последнее время я перечитывал Лоноффа, но об этом упоминать не стал. После его тоста мне стало ясно, что я не потерял в его глазах, признавшись, что меня увлекают умные хорошенькие студентки, и я не хотел рисковать и злить его лестью. С гиперчувствительным льстецом Уиллисом, запомнил я, он разговаривал по телефону меньше шестидесяти секунд.

Я рассказал Лоноффу, как приятно просыпаться по утрам, зная, что впереди долгие свободные часы, которые можно занять работой. Когда я был студентом, солдатом, продавцом подписок, у меня не выдавалось столько времени подряд для сочинительства, я не жил прежде в такой тишине и уединении, не бывало, чтобы мои немногие потребности удовлетворяли так быстро, как это делал персонал в Квосее. Все это казалось мне чудесным, волшебным даром. Всего несколько вечеров назад метель мела весь день, и после ужина я отправился вместе с рабочим колонии расчищать на снегоуборочной машине дороги, которые ветвились на много миль по лесам Квосея. Я описывал Лоноффу, как мне весело смотреть, когда машина сгребает снег, а затем эти холмы снега валяются в свете фар в лес; мороз и лязганье цепей на колесах – мне казалось, что после долгого дня за *моей* “Оливетти” мне больше ничего не надо. Я полагал, что вопреки самому себе я говорю, не питая никакой писательской корысти, но все рассказывал и рассказывал про долгие часы на снегоуборочной машине после долгих часов за столом: я не просто хотел убедить Лоноффа, что духом я чист и непоколебим, проблема была в том, что мне самому хотелось в это верить. Проблема была в том, что мне хотелось быть полностью достойным его пронявшего меня тоста.

– Я хотел бы так жить всегда, – заявил я.

– Не стоит, – сказал он. – Если вы так и будете читать, писать и смотреть на снег, кончите как я. Тридцать лет одни

фантазии.

Слово “фантазии” в устах Лоноффа прозвучало как название хлопьев для завтрака.

И тут впервые подняла голос его жена, впрочем, учитывая, как скромно она держалась, точнее было бы сказать “опустила голос”. Она была невысокого роста, с ласковыми серыми глазами и мягкими седыми волосами, с бледным лицом, исчерченным тонкими морщинками. Возможно, она и на самом деле была, как утверждали, забавляясь, литераторы, “наследницей из высокородных янки”, которую Лоноффу удалось подцепить, притом великолепным образчиком данного вида, в самых скромно-девических его проявлениях, однако сейчас она выглядела как женщина, выжившая во фронтире, как жена фермера из Новой Англии, давным-давно покинувшего эти горы, чтобы начать новую жизнь на Западе. Для меня ее морщинистое лицо и робкая, почти пугливая манера были свидетельством трудной истории о муках деторождения, побегах от индейцев, голоде и лихорадке, о суровой жизни в фургонах – я не мог поверить, что она выглядит такой изнуренной лишь потому, что жила с Э. И. Лоноффом, пока он тридцать лет писал свои рассказы. Позже я узнал, что кроме двух семестров в школе искусств в Бостоне и нескольких месяцев в Нью-Йорке – да еще года в Лондоне, проведенного в попытках сводить Лоноффа в Вестминстерское аббатство, – Хоуп не отправлялась никуда дальше, чем ее предки, известные среди местных жителей юристы и

священники, и унаследовала она лишь одну из “лучших” в Беркширских горах фамилий и прилагавшийся к этому дом.

Она познакомилась с Лоноффом, когда он в семнадцать лет устроился работать к фермеру, разводившему в Леноксе кур. Сам он воспитывался в пригороде Бостона, впрочем, до пяти лет жил в России. После того как его отец, ювелир, чуть не умер от увечий, полученных во время погрома в Житомире, родители Лоноффа эмигрировали в дикую Палестину. Там их обоих унес сыпной тиф, и о сыне заботились друзья семьи, жившие в еврейской сельскохозяйственной общине. В семь лет его одного отправили на корабле из Яффы к состоятельным родственникам отца в Бруклайн; в семнадцать он предпочел не учиться в университете за счет родственников, а бродяжничать, а затем, в двадцать, выбрал Хоуп – левантский Валентино без роду без племени взял в супруги молодую образованную провинциальную девушку, которой по воспитанию и складу характера предопределен был более изысканный уклад – обустроенный дом вблизи старых гранитных надгробий, извещения о молитвенных собраниях на церквях, длинная дорога в горах, называвшаяся Уитлси: кто бы и откуда бы он ни был, ничего хорошего это ему не сулило.

Несмотря на все, что придавало Хоуп Лонофф послушный вид стареющей гейши, когда она осмеливалась заговорить или шевельнуться, я все ждал: не напомним ли она ему, что в жизни он не только читал, сочинял и смотрел на снег –

были в его жизни еще она и дети. Но в ее ровном голосе не было и тени упрёка, когда она сказала:

– Не стоит так низко оценивать свои достижения. Тебе это не идет. – И добавила еще мягче: – Да и неправда это.

Лонофф вздернул подбородок.

– Я не мерял свои достижения. Я не оцениваю свою работу ни высоко, ни низко. Полагаю, я точно знаю, в чем мои достоинства и самобытность. Я знаю, куда и как далеко я могу зайти, не насмехаясь над тем, что мы все любим. Я только предположил – точнее, высказал догадку, что жить неупорядоченней, возможно, более полезно такому писателю, как Натан, чем гулять по лесу и пугать оленей. В его рассказах есть буйность, и это надо пестовать, причем не в лесу. Я только хотел сказать, что ему не следует глушить то, в чем определено и есть его дар.

– Извини, – ответила его жена. – Я не поняла. Я думала, ты выражаешь недовольство своей работой.

– Я и выражал недовольство, – сказал Лонофф так же поучительно, как разговаривал с Эми о ее терпении и со мной, когда рассказывал о своих трудностях с чтением, – но не по поводу работы. Я выражал недовольство диапазоном своего воображения.

С самоуничижительной улыбкой, выражавшей намерение немедленно загладить свою дерзость, Хоуп сказала:

– Воображения или опыта?

– Я давно оставил все иллюзии относительно себя и опыта.

Она стала смахивать крошки с хлебной доски и вдруг с неожиданной и даже необъяснимой настойчивостью тихо призналась:

– Я никогда до конца не понимала, что это значит.

– Это значит, что я знаю, кто я такой. Знаю, какой я человек и какой писатель. Я по-своему смелый человек, и, прошу тебя, давай на этом остановимся.

Она и остановилась. Я вспомнил о еде и снова занялся содержимым своей тарелки.

– У вас есть девушка? – спросил меня Лонофф.

Я объяснил свою ситуацию – в той мере, в какой хотел.

Бетси узнала про меня и про одну свою знакомую – со времен балетной школы. Мы с ней целовались за бокалом вина на кухне, она игриво показала мне кончик лилового от вина языка, а я, возбуждавшийся быстро, тут же стащил ее с ее стула на пол у кухонной мойки. Случилось это в один из вечеров, когда Бетси танцевала в Городском центре, а ее подружка зашла забрать какую-то пластинку и разведать, не будет ли продолжения того флирта, который у нас начался несколько месяцев назад, когда Бетси уехала с труппой на гастроли. Я, встав на колени, стал ее раздевать, она, не слишком усердно сопротивляясь, сообщила мне, что я полный подонок, раз могу так поступать с Бетси. Я не стал намекать, что и она не идеал порядочности; обмениваться в любовном запале оскорблениями – не мой афродизиак, к тому же опасался, что, увлекшись, я потерплю фиаско. Поэтому я взва-

лил на себя груз предательства за нас обоих и пришил ее бедра к линолеуму, а она, улыбаясь влажными губами, продолжала описывать изъяны моего характера. Я в ту пору находился на той стадии эротического развития, когда ничто не возбуждало меня так, как половой акт на полу.

Бетси была девушкой романтической, нервической, чувствительной, ее могло бросить в дрожь от вспышки в цилиндре автомобильного двигателя, так что, когда через несколько дней подруга рассказала ей по телефону, что мне доверять нельзя, это ее чуть не доконало. У нее вообще тогда был плохой период. Одну из ее соперниц взяли маленьким лебедем в “Лебединое озеро”, а она, четыре года назад, в свои семнадцать отмеченная Баланчиным как подающая большие надежды танцовщица, все оставалась в кордебалете, и теперь ей казалось, что это уже никогда не случится. А она так старалась стать лучшей! Для нее балет был смыслом жизни, и эта точка зрения была для меня столь же притягательной, как огромные подведенные цыганские глаза, и маленькое ненакрашенное обезьянье личико, и изящные, чарующие позы, которые она умела принимать, даже когда делала что-то вроде бы неэстетичное – например, полусонная брела посреди ночи писать в мою ванную. Когда нас познакомили в Нью-Йорке, я ничего не знал о балете, никогда не видел настоящих танцовщиков на сцене, тем более вне ее. Мой армейский приятель – они с Бетси выросли в Ривердейле, в соседних домах, – взял нам билеты на балет Чайковского и при-

гласил девушку, которая там танцевала, днем выпить с нами кофе рядом с Городским центром. Бетси, прямиком с репетиции, была очаровательно поглощена собой, развлекала нас рассказами о том, как ужасно требующее самопожертвования призвание – смесь, по ее словам, жизни боксера и жизни монашки. Ни минуты покоя! Она начала заниматься балетом в восемь лет и с тех пор только и беспокоится насчет своего роста, веса, ушей, соперниц, травм, возможностей – вот сейчас она в полном ужасе от предстоящего вечера. Я никак не мог понять, из-за чего ей беспокоиться (уж точно не из-за ушей), и был совершенно заворочен ее упорством и неотразимостью. В театре, когда зазвучала музыка и на сцену высыпала дюжина балерин, я, к сожалению, забыл, сказала ли Бетси, что она одна из девушек в лиловом с розовым цветком в волосах или что она – одна из девушек в розовом с лиловым цветком в волосах, поэтому весь вечер пытался хотя бы ее отыскать. Каждый раз, решив, что вот эти ноги и руки – точно Бетси, я готов был вопить от восторга, но тут по сцене пробегало еще с десятков балерин, и я думал: нет, вон та, та – точно она.

– Ты была изумительна, – сказал я ей после спектакля.

– Да? Тебе понравилось мое маленькое соло? Вообще-то, это не совсем соло, всего пятнадцать секунд. Но, по-моему, оно совершенно очаровательное.

– Оно великолепно! – сказал я. – И мне показалось, что оно длиннее пятнадцати секунд.

Через год наша артистическая и любовная связь оборвалась, когда я признался, что наша общая подруга была не первой, которую я повалил на пол, пока Бетси вкладывала всю душу в танец, а мне нечем было занять вечера и некому было меня остановить. Я признался, что уже некоторое время такое себе позволяю, а она не заслуживает такого отношения. Голая правда, разумеется, привела к куда более плачевным результатам, чем если бы я признался, что соблазнил лишь одну коварную соблазнительницу и этим бы ограничился; о других меня никто не спрашивал. Но увлеченный размышлениями о том, что раз уж я подлый изменник, буду хотя бы правдивым подлым изменником, я был более жесток, чем нужно и чем намеревался. В приступе вины и отчаяния я сбежал из Нью-Йорка в Квосей, где наконец сумел отпустить себе грех похоти и простить себе предательство, пока наблюдал, как щиток снегоочистителя разгребает дороги колонии для моих одиноких прогулок, прогулок, во время которых я в восторге, не стесняясь, обнимал деревья, вставал на колени и целовал сверкающий снег – настолько переполняли меня благодарность, ощущение свободы и обновления.

Из всего этого я рассказал Лоноффам только милую часть о том, как мы познакомились, добавив, что сейчас, увы, мы с моей девушкой временно расстались. Но я описывал ее с такой нежностью, что не только беспокоился, не переложил ли я сахару для этой старой четы, но и задумался о том, каким идиотом я был, предав ее любовь. Описывая ее уди-

вительные достоинства, я почти погрузился в скорбь, будто несчастная балерина не выла от боли, требуя, чтобы я убрался вон и никогда не возвращался, а умерла у меня на руках в день нашей свадьбы.

Хоуп Лонофф сказала:

– Я знала, что она балерина – прочла о ней в “Сэтеди ревью”.

В “Сэтеди ревью” напечатали статью о молодых неизвестных американских писателях, с фото и небольшими заметками – “Дюжина тех, на кого стоит обратить внимание”, а отбирали кандидатуры редакторы основных литературных журналов. На фото я играл с Нижинским, нашим котом. Интервьюеру я признался, что моя “подруга” танцует в “Нью-Йорк Сити балет”, а когда меня попросили перечислить трех ныне живущих писателей, которых я ценю больше всего, первым я назвал Э. И. Лоноффа.

Теперь меня встревожила мысль, что именно тогда Лонофф обо мне и узнал, – однако, надо признаться, отвечая на идиотские вопросы интервьюера, я надеялся, что, ответив так, обращу его внимание на свои рассказы. В то утро, когда журнал появился в киосках, я прочитал отрывок о “Н. Цукермане” раз пятьдесят. Я пытался просидеть назначенные себе шесть часов за пишущей машинкой, но у меня не вышло – каждые пять минут я хватал журнал и рассматривал фотографию. Не знаю, что мне должно было там открыться, быть может, будущее, названия моих первых десяти книг, но

я помню, как подумал: эта фотография серьезного и вдохновенного молодого писателя, так ласково играющего с котенком, живущего в квартире на пятом этаже без лифта с юной балериной, могла бы пробудить во многих обворожительных женщинах желание занять ее место.

– Я бы никогда не согласился на интервью, – сказал я, – если бы понимал, как все обернется. Интервью длилось час, а из всего мной сказанного они выбрали какую-то чепуху.

– Не извиняйтесь, – сказал Лонофф.

– Правда, не стоит, – улыбнулась мне его жена. – Что плохого в том, что в газете напечатали ваше фото?

– Я не про фото, хотя и про него тоже. Я и подумать не мог, что они возьмут то, с котом. Я думал, они выберут то, где я за пишущей машинкой. Нужно было догадаться, что не могут же они всех показывать за пишущей машинкой. Девушка, которая приходила меня снимать... – и которую я безуспешно пытался завалить на пол, – ...сказала, что просто снимет кота для нас с Бетси.

– Не извиняйтесь, – повторил Лонофф, – если не уверены, что в следующий раз так не поступите. В ином случае – сделал и забыл. Не надо усложнять.

Хоуп сказала:

– Он имел в виду, что он вас понимает, Натан. Он относится к вам с большим уважением. К нам в дом приходят только те, кого Мэнни уважает. Он терпеть не может людей бессодержательных.

– Достаточно, – сказал Лонофф.

– Я просто не хочу, чтобы Натан решил, будто ты чувствуешь свое превосходство – это же не так. – Моя жена была бы куда счастливее с менее требовательным спутником жизни.

– А ты менее требовательный, – сказала она. – Ко всем, кроме себя. Натан, вам ни к чему оправдываться. Почему бы вам не радоваться первому публичному признанию? Кто заслуживает признания, как не такой талантливый юноша, как вы? Подумайте, скольких никчемных людей возносят каждый день – кинозвезд, политиков, спортсменов. Раз вы писатель, из этого вовсе не следует, что вы должны лишать себя простых человеческих радостей, похвала и аплодисменты приятны всем.

– Простые человеческие радости не имеют к этому никакого отношения. К чертям простые человеческие радости. Молодой человек хочет стать творцом.

– Дорогой ты мой, – ответила она, – Натан, наверное, думает, что ты негибачемый. А ты вовсе не такой. Ты самый великодушный, понимающий, скромный человек из всех, кого я знаю. Слишком скромный.

– Давай отвлечемся от моих добродетелей и перейдем к десерту.

– Да добрее тебя нет человека! Правда, Натан. Вы ведь видели Эми?

– Мисс Беллет?

– А вы знаете, что он для нее сделал? Когда ей было

шестнадцать, она написала ему письмо. На адрес его издателя. Чудесное, искреннее письмо – такое смелое, порывистое. Она рассказала ему историю своей жизни, а он не забыл, написал ответ. Он всегда отвечает на письма – даже всяким болванам пишет вежливые записочки.

– А что у нее за история? – спросил я.

– Перемещенное лицо, – сказал Лонофф. – Беженка.

Он счел это сообщение достаточным, но его жена неслась, как фургон переселенцев, – я удивился, что она так разговорила. Неужели вино – а выпила она совсем немного – так ударило ей в голову? Или в ней кипело что-то иное?

– Она сообщила, что она очень умная, талантливая и милая шестнадцатилетняя особа и сейчас живет в не столь умной, талантливой и милой семье в Бристолле, в Англии. Она даже сообщила, какой у нее коэффициент интеллектуального развития, – сказала Хоуп. – Ах, нет, это было во втором письме. В общем, она хотела начать жизнь с нового листа и подумала, что человек, чей прекрасный рассказ она прочитала в школьной антологии...

– Это была не антология, впрочем, можешь продолжать.

Хоуп попыталась прикрыться застенчивой улыбкой, но тут требовался накал посильнее.

– Думаю, я могу говорить об этом и без помощи. Я же просто излагаю факты, причем, как мне казалось, довольно спокойно. А то, что рассказ был в журнале, а не в антологии, не означает, что я потеряла контроль над собой. Более того,

речь не об Эми, ни в коем случае. А о твоей удивительной доброте и милосердии. Ты заботишься обо всех нуждающихся, обо всех, кроме собственно тебя и твоих нужд.

– Собственно “меня”, как ты выразилась, в обыденном смысле слова не существует. Следовательно, можешь прекратить этот поток похвал. И не беспокоиться о “нуждах”.

– Собственно “ты” существует. И имеет полное право существовать, причем в обыденном смысле! – Достаточно, – повторил Лонофф.

Она встала, чтобы убрать со стола перед десертом, и тут же в стену полетел бокал. Его швырнула Хоуп.

– Выгони меня вон! – закричала она. – Я хочу, чтобы ты меня выгнал. И не говори, что не можешь, потому что ты должен! Я этого хочу! Я помою посуду, а потом выгони меня, сегодня же! Я тебя умоляю! Уж лучше я буду жить и умру одна, уж лучше это, чем очередное проявление твоего мужества! Нет у меня больше нравственного стержня, хватит с меня разочарований! И твоих, и моих! Нет у меня сил жить с преданным, благородным супругом, у которого нет иллюзий относительно себя, *никаких сил нет!*

Сердце у меня, естественно, бешено колотилось, впрочем, не совсем потому, что для меня внове были звук бьющегося стекла и вид несчастной плачущей женщины. С месяц назад я это уже видел. В наше последнее утро вместе Бетси расколотила весь милейший сервиз из “Блумингдейла”, купленный нами вдвоем, а потом, когда я мешкал с уходом – хотел

объясниться, она взялась за стекло. Особенно меня озадачило то, какую ненависть я вызвал, рассказав всю правду. Если бы только солгал, думал я, если бы сказал, что подруга, сообщившая, что мне нельзя доверять, склочная сука, что она завидует удачам Бетси и вообще психованная, ничего этого бы не случилось. Однако поскольку я ей лгал, тут бы я ей *солгал*. За исключением разве того, что я сказал бы о ее подруге, я сказал бы правду! Я никак не мог этого понять. Как и Бетси, когда пытался ее успокоить и объяснить, какой я молодчина, что так честно все выложил. Собственно, тут-то она и пошла колотить тонкие бокалы, шведский набор из шести штук: несколько месяцев назад мы купили его взамен банок из-под джема во время как бы супружеской вылазки в “Бон-ньерс” (купили вместе с красивым скандинавским ковром, на который в свое время я пытался завалить девушку-фотографа из “Сэтеди ревью”).

Хоуп Лонофф тяжело опустилась на стул, решив обратиться к мужу через стол. Лицо ее было в пятнах – там, где она в припадке самоуничтожения расчесывала дряблую, морщинистую кожу. Судорожные, нервные движения ее пальцев встревожили меня еще больше, чем страдание в ее голосе, и я подумал, не убрать ли сервировочную вилку со стола – не ровен час она воткнет ее зубцами в грудь и тем самым даст лоноффскому “я” свободу поступать так, как, по ее мнению, ему было нужно. Но поскольку я был всего лишь гостем – я почти во всем был “всего лишь”, я не стал трогать столовые

приборы и приготовился к худшему.

– Возьми ее, Мэнни. Хочешь ее – так возьми, – причитала она, – и тогда ты перестанешь быть таким несчастным, и все в мире перестанет быть таким тусклым. Она больше не студентка, она – женщина! Ты имеешь на нее право – ты вызволил ее из небытия, ты больше чем имеешь право: это единственное, в чем есть смысл. Скажи ей, пусть соглашается на эту работу, скажи, пусть остается! Она должна так поступить. А я уеду! Потому что я больше ни секунды не могу оставаться твоей надзирательницей! Твое благородство пожирает последнее, что осталось! Ты – памятник, ты можешь все сносить, а я, я – почти ничто, дорогой, и я не могу. Прогони меня! Прошу, сделай это сейчас же, прежде чем твоя порядочность и твоя мудрость погубят нас обоих!

* * *

После ужина мы с Лоноффом сидели вдвоем в гостиной, потягивая с достойной восхищения сдержанностью столовую ложку коньяка, который он разлил по двум большим бокалам. Прежде я пробовал коньяк только как временное домашнее средство от зубной боли: в нем вымачивали ватку, которую я держал на пульсирующей десне, пока родители не доставили меня к дантисту. Однако я принял предложение Лоноффа так, будто у меня вошло в привычку пить после ужина. Комизм усилился, когда мой хозяин, еще один выпи-

воха, пошел искать подходящие бокалы. Осмотрев всё, он в конце концов обнаружил их у задней стенки нижнего отсека подсервантника в холле.

– Подарок, – объяснил он. – Я думал, они еще в коробке.

Он отнес два бокала на кухню – смыть пыль, которая, похоже, копилась на них со времен Наполеона, имя которого значилось на закупоренной бутылке. А потом решил заодно помыть и четыре остальных бокала из набора и убрать их обратно, и только после этого вернулся ко мне – веселиться у камина.

Немногим позже – минут через двадцать после того, как он отказался хоть как-то реагировать на мольбы заменить ее Эми Беллет, – стало слышно, как Хоуп возится на кухне, моет посуду, которую мы с Лоноффом молча убрали со стола, когда она нас покинула. По-видимому, из их спальни она спустилась по задней лестнице – наверное, чтобы не мешать нашей беседе.

Помогая ему убирать посуду, я не знал, что делать с разбитым бокалом и блюдцем: его она случайно смахнула на пол, когда выскочила из-за стола. Будучи тут в амплуа инженерю, я, очевидно, должен был избавить дородного человека в костюме от необходимости наклоняться, тем более что это был Э. И. Лонофф; с другой стороны, я все еще пытался делать вид, будто ничему кошмарному свидетелем не был. Чтобы не придавать этой истерической выходке слишком большого значения, он, наверное, даже предпочел бы, чтобы осколки

остались там же и Хоуп потом убрала их сама – если прежде не наложит на себя руки в спальне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.